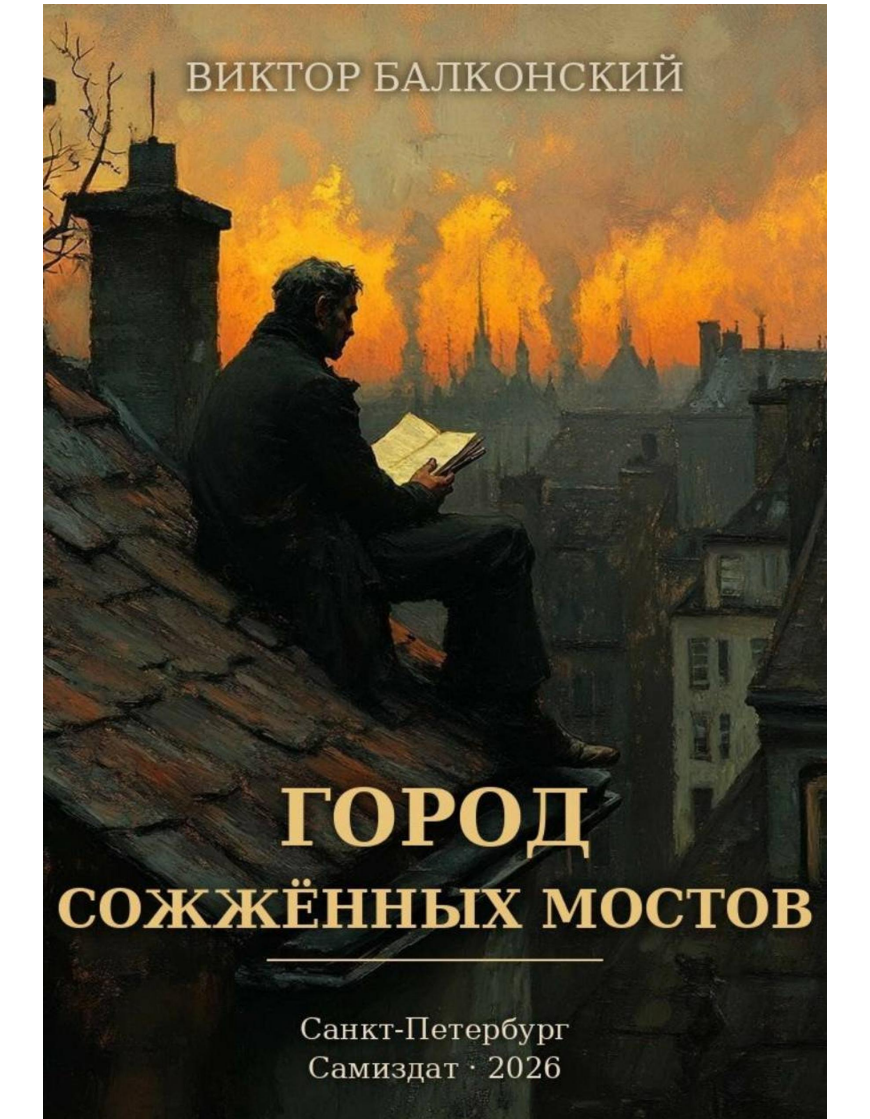




ВИКТОР БАЛКОНСКИЙ

ГОРОД СОЖЖЁННЫХ МОСТОВ

Санкт-Петербург
Самиздат · 2026

Влад Шамшин

Город сожжённых мостов

<https://litres.ru/74241678>

SelfPub; 2026

Аннотация

Первая проба пера и сюжетной силушки от неизвестного юнца, чьи глаза ещё полны романтики - несмотря на кучу причин потухнуть и потеряться в серой массе безликой толпы. Писал о расстройствах и лицах, каплю нуара и джаза и получился всё равно около-ремарковский роман. Буду рад фидбэку, спасибо за прочтение!

Содержание

ГОРОД СОЖЖЁННЫХ МОСТОВ	5
Глава 1. Патрон	6
Глава 2. Хирург	35
Глава 3. Тёплый свет	58
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Влад Шамшин

Город сожжённых мостов

ВИКТОР БАЛКОНСКИЙ

ГОРОД СОЖЖЁННЫХ МОСТОВ

роман

Одиннадцать глав, эпилог и послесловие

Вельмонт, середина 1950-х

Предпечатная редакция · 32 листа иллюстраций

Глава 1. Патрон

...

Кто слишком хорошо умеет быть всеми, в одиночестве задумается — а был ли он вообще.



Синописис: Вельмонт просыпается поочерёдно — от пожарного каземата до конторы на втором этаже, хозяина которой никто в городе не может описать. Один день Патрона: телеграмма, поджоги на канале, каланча, ночной обход — и мост, на котором стоит женщина лицом к воде.

Объём: ~4330 слов / ~27600 знаков. Время чтения: ~24 минут.



Человека со второго этажа в пожарной части Вельмонта не мог описать никто, хотя видели его каждый день по два раза, а в тревожные ночи и чаще.

Однажды спорили на литр макона. Дежурство шло пустое, дождь прибил город к земле, и шофёр — тот, что двадцать лет водил линейку и знал в лицо половину Вельмонта, потому что вторая половина у него горела, — божился, что опишет верхнего жильца с закрытыми глазами. Закрыв глаза. Сказал про серый плащ. Сказал про шляпу. На плаще и шляпе кончился.

— Двенадцать лет с ним здороваюсь, — капитан Ру поло-

жил карты рубашкой вверх и прижал ладонью, чтобы никто не подсмотрел. — Спроси меня, какой у него нос. Совру и сам не замечу.

Литр так и не разыграли. Записали на приход, как записывают долг, который стыдно требовать.

В то утро в каземате пахло вчерашним выездом: мокрым брезентом, гарью, которая въелась в сукно, и кофе, который сапёры — так в Вельмонте звали пожарных, на старый манер, — варили в жестяном ведёрке до того состояния, когда ложка стоит. В сушильной башне висели рукава, с них ещё капало, и капли ложились в один и тот же тёмный круг на бетоне. Молодой Тибо, три недели как из деревни, сидел на скамье и втирал сало в сапог. Сапог сопротивлялся.

В шесть тридцать сменялся караул. Во дворе прогревали линейку: мотор чихал, набирал, шофёр стоял, наклонив голову, и слушал его, как слушают заику, — терпеливо, не перебивая. Ночная смена сдавала дневной хозяйство: сколько воды в баке, где перетёрся рукав, у кого именины. Каски висели на гвоздях в ряд, и в каждой плавало по маленькому окну.

Почта пришла в шесть сорок. Почтальон сунул в общую щель ворот два конверта и телеграмму, крикнул что-то про погоду и уехал, дребезжа. Телеграмма была не им — «Де Купу, 2-й этаж».

— Тибо, — Ру не поднял головы от карт. — Снеси верхнему.

— А он какой? — Тибо отставил сапог. — Злой?

— Он никакой. Потому и снеси.

Лестница на второй этаж шла отдельным пролётом, широкая, с чугунными перилами. Тибо поднимался, как поднимаются в деревне на колокольню: не то чтобы страшно, а всё-таки перекреститься не мешает. На площадке была дверь — матовое стекло в тёмном дереве, за стеклом уже горел свет, ровный и жёлтый. Латунная табличка, начищенная без усердия, ровно настолько, чтобы читалось:

ПАТРОНАЖ

Частное детективное агентство

Тибо занёс кулак. Дверь открылась раньше, чем он успел стукнуть.

— Тибо, — сказали из двери. Голос был обыкновенный, как вода из-под крана. — Третья неделя? Сапог салом не трите, кожа задохнётся. На ночь набейте газетой, к воскресенью разносится.

Тибо отдал телеграмму, что-то ответил — потом он не мог вспомнить, что именно, — и сошёл вниз, держась за перила.

— Он меня по имени, — сообщил он каземату. — Я ж ему не представлялся.

— Привыкай, — Ру собрал карты. — Он всех так. Он, может, тебя и не видел толком. А знает.

Ру говорил это без обиды. Прозвище «Патрон» в этом доме и родилось, ещё при старом брандмейстере: жилец сверху был единственным человеком в квартале, который ни разу

ни о чём не попросил, — и сапёры, народ, привыкший, что просят все, произвели его за это в хозяева. Город подхватил. Адриен де Куп носил прозвище, как носят чужое пальто по погоде: не своё, но греет.

Дом, в котором он жил и работал, квартал звал Клином, а старые пожарные — «носом»: угловое трёхэтажное здание входило в перекрёсток Часовой и Канатного, как форштевень входит в воду, и оживлённый центр обтекал его с двух сторон, не споря. Строили его в готическую старину, со стрельчатыми окнами и водостоками-мордами по карнизу, и с тех пор город вокруг сто раз перекрасился, а Клин стоял, как стоял, — рассекая собою людской поток на два рукава.

Первый этаж искони держала пожарная часть. Ворота у депо смотрели сразу на юг и на север — строили его люди, готовые тушить любое пламя с обеих сторон: горячие брёвна при пожарах и горячие нравы при протестах. Так объяснял это Ру, и в его подаче это звучало не остроумием, а служебной инструкцией.

Улица при этом жила, не задирая головы к готике. У самого носа с рассвета торговал табачный дебит под красным ромбом; часовая мастерская держала над дверью эмалевый циферблат без стрелок — «время спросите внутри»; в канатной лавке бухты лежали у входа, как спящие удавы, и пахли смолой на весь квартал. По четвергам приезжал точильщик с педальным кругом, и его сноп искр собирал мальчишек надёжнее любого фокусника; молочница катила тележ-

ку с бидонами, здороваясь со всеми консержками по старшинству домов; трамвай выворачивал с Канатного со звоном, которым, казалось, гордился. На афишной тумбе мюзетт спорил с французской борьбой, и оба проигрывали кинематографу: поверх борцов с тумбы улыбался Жерар Филип — «Фанфан-Тюльпан» шёл четвертую неделю, и мальчишки квартала фехтовали прутьями до первых слёз.

Над воротами депо поднимались ещё два этажа, застеклённые толстым зеленоватым свинцовым стеклом. С улицы за ним не разглядеть было ничего, кроме мутной аквариумной глубины; изнутри же город лежал как на ладони — оба рукава перекрёстка разом. Уютный этаж, удачно снятый у тех же пожарных, никто не искал у себя под носом — по той простой причине, по какой не ищут очки у себя на лбу.

Второй этаж целиком занимала контора. Дубовый стол, тяжёлый, Т-образной формы, стоял так, что хозяин сидел спиной к самому углу здания — в позиции, которую Адриен про себя определял как самую защищённую и самую загнанную разом, и обе оценки его устраивали. По краям — крепкая тёмная мебель старой работы; по всему полу, кроме почти винтовой лестницы, — мягкий ковёр, глушивший шаги до полной беззвучности. Вечерами он гасил всё, кроме ламп, повёрнутых абажурами в столешницу, и подолгу смотрел, как в отсветах фар с перекрёстка клубятся пылинки и дым его сигареты. Снизу этих огоньков не видел никто: зелень свинцового стекла на высоте съедала их первыми. Солн-

ца здесь тоже было в меру — занавески и толстое стекло делали своё дело.

Третий этаж, чердачный, он обжил позже — и обжил всерьёз: квартира с балконом на три стороны, просторная спальня со слуховым окном и выход на мансарду, где стояли горшки с геранью и два кресла со столиком под полотняным навесом. Всего он снимал у части два помещения по сто квадратов — и честно не использовал половины.



ЛИСТ II · КОНТОРА НАД ПОЖАРНОЙ ЧАСТЬЮ

Единственное окно в городе, в которое Адриен смотрел не по работе. За толстым зеленоватым стеклом город лежал обоими рукавами перекрёстка сразу, а его самого за той же зеленью не видел никто — он давно устроился так, чтобы видеть, оставаясь невидимым, и только здесь, наверху, позволял себе смотреть просто так.



Если бы вас попросили описать человека, который принял телеграмму, вы запнулись бы уже на втором слове — как тот шофёр. Среднего роста. Среднего возраста, где-то между сорока и усталостью. Лицо, какое забываешь раньше, чем отведёшь взгляд: не уродливое и не красивое, ровное, как стена, мимо которой проходишь сто раз и ни разу не замечаешь, что на ней. Серый плащ на вешалке, серая шляпа на крюке, серые глаза при них. Вельмонт был полон таких людей, и в этом-то всё и дело. Адриен потратил годы, чтобы стать одним из них, потому что незаметность была единственной бронёй, которую не пробивает пуля. Запоминают яркого, запоминают того, кто хорош собой или страшен. А кто помнит лицо человека, продавшего тебе утреннюю газету? Кто опишет того, кто простоял рядом в трамвае всю дорогу?

Контора занимала угол второго этажа — две комнаты в доме, который врос в перекрёсток, как гнилой зуб в десну: фасадом на улицу, боком на канал. Окна были высокие, в

толстом стекле; за такими стёклами улица шла, как немое кино, — рты открываются, колёса катятся, а звука нет, звук оставался снаружи, при своих. Третий этаж, над конторой, был жилой и без вывески: комната, где Адриен спал, когда спалось, и кухня со спиртовкой, на которой он по утрам варил цикорий. Настоящий кофе в этом городе водился, но не здесь; настоящий кофе Адриен позволял себе в другом месте и по другому поводу.

Дом он снял двенадцать лет назад, и хозяин тогда долго протира́л очки.

— Над колоколом? — переспросил хозяин. — Над колоколом у меня никто не живёт. Съезжают.

— Поэтому и хочу, — сказал Адриен. — Цена честная. И всякий, кто ночью придёт по мою душу, сперва перебудит два десятка людей в касках.

Хозяин посмеялся и сдал. Он думал, это была шутка.

Колокол под полом бил в самые неурочные часы, и Адриен давно перестал вздрагивать. Больше того — привык, как привыкают к чужому сердцу за стеной: пока стучит, ты не один. По утрам снизу тянуло влажной кожей рукавов, машинным маслом и тем самым кофе, от которого ложка стоит, а по праздникам — ружейной ваксой, которой сапёры надраивали каски. Иногда кто-нибудь кричал ему через лестничный пролёт: «Salut, Patron!» — и Адриен отвечал что-нибудь весёлое, потому что весёлость была его рабочей одеждой, которую он надевал, ещё не дойдя до двери.

Телеграмма была из страхового общества «Северная»:
«ДЕЛО СРОЧНОЕ ТЧК БУДУ ДЕВЯТЬ ТЧК ОЖЕ»

Адриен положил её на стол, к остальной почте, выравнивая край по краю. С улицы свистнули — длинно, с переливом, сквозь щербину.

Свистел Люка, не выпуская из-под локтя пачку «Франс-Суар»,. Люка было одиннадцать, он торговал «Вельмонтским курьером» на углу и один во всём городе знал про этот дом главное: газету сюда не носят в дверь. У окна конторы, на бечёвке, висела ивовая корзинка; монета ехала вниз, газета ехала вверх, и обе стороны находили устройство разумным. Заголовки Люка выкрикивал по дороге, перевирая ровно настолько, чтобы газету купили:

— «Курье-ер»! В Алжире опять жарко! На канале горим — третий склад за месяц! Вдова с улицы Роз отравила жильца фикусом!

Про фикус в газете не было ни слова. Фикус Люка добавлял от себя, для тиража.

Адриен вытянул корзинку, развернул газету на подоконнике. Про Алжир — половина полосы и карта со стрелками. Про склад — восемь строк внизу: горел ночью, склад арендной конторы, убытков не установлено, полиция причин не ищет, причина известна — проводка. Слово «проводка» стояло в восьми строках дважды, как гвоздь, который забили и на всякий случай забили ещё раз.

Внизу с двухминутным опозданием проехал четвёртый

трамвай: вторник — на конечной у рынка привоз, и вагоновожатый берёт у зеленщицы корзину до депо. Адриен знал это не потому, что следил. Просто такие вещи оставались в нём сами, как остаётся в кармане песок после моря.



Оже пришёл без семи девять и постучал дважды, с паузой — так стучат люди, которые репетировали.

Он был сухой, узкий, при зонте, хотя небо стояло чистое, и с портфелем на два замка. Сел на край стула, шляпу устроил на колене донцем вниз, как ставят посуду. Из внутреннего кармана добыл химический карандаш и блокнот, карандаш лизнул — губа у него была в лиловых точках, старых и свежих, целая ведомость.

— Общество «Северная», — сказал он. — Инспектор Оже. У нас горит клиент.



ЛИСТ III · НИКТО

Лицо, какое забываешь раньше, чем отведёшь взгляд. Он выстроил эту незапоминаемость годами, как другие выстраивают карьеру, и носил её ровно и буднично — человек в сером, которого толпа принимает и тут же теряет.

— Судя по газете, уже третий раз.

— Газета пишет «проводка». — Оже произнёс это слово, как произносят имя человека, задолжавшего денег. — Полиция пишет «проводка». Проводка, месье де Куп, не выбирает четверг.

— А ваши пожары выбирают?

— Все три — в ночь на пятницу. Все три — склады у Восточного бассейна. И все три застрахованы у нас, причём полисы молодые, самому старшему полгода. — Он раскрыл портфель, выложил папку, выровнял её по краю стола и остался этим доволен. — «Северная» — общество солидное. Мы платим. Но мы платим за несчастье, а не за керосин.

— Керосин нашли?

— Ничего не нашли. В том и беда: искали как для протокола. — Оже подался вперёд, и стул под ним скрипнул от неожиданности. — Убытки заявлены странные. Мало — для складов, набитых товаром. Много — для складов пустых. Понимаете? Горит вроде бы добро, а пахнет так, будто горят одни стены.

— Кто арендатор?

— Вот. — Оже открыл папку на заложенной странице и повернул к нему. — Все три склада держит одна контора. «Юбер и сыновья», перевозки. Причал у Восточного бассейна, грузовое дело, репутация каменная. В том и неудобство: солидная фирма, солидней некуда. Спрашивается, зачем солидной фирме жечь собственные стены?

Подпись на договоре аренды была крупная, с нажимом, — перо в двух местах прорвало бумагу. Адриен посмотрел на подпись дольше, чем на цифры.

— Сыновья есть?

— Значатся. — Оже пожал плечами так, что зонт съехал. — Видеть — никто не видел. У нас говорят: старик распиывается, сыновья существуют.

Адриен закрыл папку и некоторое время смотрел, как Оже держит шляпу: обеими руками за поля, ровно, как держат тарелку с супом в поезде. Мизинец на правой руке жил отдельно — постукивал по фетру, мелко, безостановочно. Премии в «Северной», надо думать, горели вместе со складами.

— Двести в день и расходы, — сказал Адриен. — Неделя. Через неделю у вас либо имя, либо ваши деньги обратно.

— Так не делают, — удивился Оже.

— Поэтому ко мне и ходят.

Оже слизнул с карандаша ещё одну лиловую точку, записал условия и вышел, забыв зонт. Вернулся за ним через полминуты, извинился перед зонтом, потом перед Адриеном —

именно в этом порядке.



До Восточного бассейна Адриен пошёл пешком, через рынок.

Город к десяти утра был уже весь в работе. Пахло углём и мокрой пенькой, у рыбных рядов — рыбой и крупной солью, у товарной ветки — креозотом, которым шпалы пахнут в любую погоду, как будто других запахов им не полагается по уставу. Зеленщицы ссорились с весами. Носильщик катил тележку с бидонами, и бидоны переговаривались на своём жестяном языке.

У самого порта из воды торчали обгорелые сваи Епископского моста — квартал звал их «чёрными зубами» и мостом больше не звал: жгли его в сорок четвёртом дважды, сначала свои, потом чужие, и оба раза город смотрел с берега. Мальчишки летом ныряли со свай, и матери кричали на них с набережной ровно с той интонацией, с какой кричали когда-то их собственные матери — с этого же места, когда мост ещё стоял.



ЛИСТ I · ВЕЛЬМОНТ

Туман здесь не приходил и не уходил — он скапливался, как вода в низком месте, и вместе с ним оседали мокрый кашель, угольная гарь и хищные судьбы, которым в этом городе было тесно и сытно. Вельмонт стоял на воде и жил водой: приходил с моря солью и уходил в море долгами.

Люди шли навстречу сплошь — воротники, руки, походки. Воротник крысиного меха, потёртый слева: левша, носит сумку на левом плече. Руки в цыпках, но с обручальным кольцом, начищенным до белизны: кольцом дорожат больше, чем руками. Походка враскачку, флотская, а башмаки конторские: списан на берег, берегом недоволен. Всё это Адриен снимал с людей на ходу, не задерживаясь, — так дозорный снимает местность, не сбавляя шага. Над воротниками свет шёл без подробностей. Так у него было устроено давно, и об этом устройстве в Вельмонте не знал никто.

Пепелище третьего склада ещё вздыхало. Чёрные стропила лежали крест-накрест, из-под них курилось — тонко, домашнему, как из бани к вечеру. Сторож при воротах спал сидя, сложив руки на животе; от него шло ровное тепло перегара. Двое мальчишек таскали из золы гвозди в жестянку из-под леденцов и при появлении взрослого не убежали, а только стали работать быстрее — по этому признаку в Вельмонте отличали своих.

Горело от ворот. Это было видно без всякой экспертизы: у

ворот огонь съел всё до земли, а у дальней стены только поллизал и бросил. Проводка так не начинается — проводка живёт под крышей, у щитка, и оттуда спускается. Огонь этого склада вошёл в дверь, как входит человек.

— Интересуешься, mon vieux? — сказали сбоку. «Mon vieux» — старина; в устах Деде это слово стоило дороже, чем звучало, потому что стариной Деде звал только платёжеспособных.

Деде стоял у штабеля старых бочек так, как умел стоять один он во всём городе, — вроде и на виду, а глаз соскальзывает. Кепка была при нём, и он подставил её не глядя, привычным поворотом кисти, как подставляют кружку под кран.

— Пустой он горел, склад-то, — сообщил Деде, когда монета легла. — Совсем пустой. Крысы съехали за два дня до пожара, всем обозом. А крысу, mon vieux, не обманешь и не подкупишь, крыса — существо честное.

— Кто вывозил?

— А вот этого я не видал. — Деде посмотрел в небо, где ничего не было. — Ночами я сплю, я человек порядочный. Ты вон чего: у тебя ж под боком каланча. Кто наверху сидит, тот всё видит. Только его отродясь никто ни о чём не спрашивал — скучный пост, безденежный.

Монета звякнула о вторую монету. Деде приподнял кепку — не то надел, не то раскланялся — и перестал быть у бочек. Как это у него получалось, не знала даже полиция.



На каланчу вело сто сорок шесть ступеней. Адриен поднялся, не сбившись с дыхания, — дыхание он берёт смолоду, как другие берегут деньги.

Наверху, на обходной галерее, жил дневной пост: табурет, термос, артиллерийский бинокль с трещиной поперёк левой линзы и старик Ансельм, служивший на этой верхотуре так давно, что молодые сапёры держали его за часть инвентаря. Ансельм пил из термоса что-то тёмное и смотрел на город без бинокля — бинокль был для начальства.

— Верхний, — определил он, не оборачиваясь. — Слышал про тебя. Первый раз вижу, чтоб снизу поднялись поговорить. Обычно орут.

С галереи Вельмонт лежал весь: мокрые крыши уступами, шпили над ними, как воткнутые в город булавки, портовые краны у горизонта, склонившие шеи над баржами. Канал резал город наискось, и по каналу уже, хотя до вечера было далеко, начинало тянуть белым — туман в Вельмонте не приходил, а скапливался, как скапливается вода в низком месте. Люди с этой высоты шли мелкие и серые, под цвет мостовых: Вельмонт изнашивал своих, как спецовку, и к вечеру человек делался с городом одного цвета.

— Мне нужны твои глаза, — сказал Адриен. — Восточный бассейн. Склады.

— Которые горят? — Ансельм хмыкнул в термос. — Огонь я вижу раньше всех в городе. За это мне и платят гроши. А вот кто его носит — это уж по земле смотреть надо, с

земли. Сверху человек маленький.

— Мне не человек. Мне — что не так.

Ансельм повернулся и посмотрел на него с интересом, с каким смотрят на инструмент незнакомой системы.

— Что не так, — повторил он. — Это могу. Город сверху, он же весь в привычках, как старик. Трамваи по нитке, баржи по гудку, бельё по четвергам... — Он вдруг остановился, и термос застыл на полдороге. — Вот тебе, кстати, про четверги. От Юберова причала — знаешь Юберов причал? — по четвергам, к без двадцати пять утра, отходят грузовики. Три машины. Огней не жгут. Идут на север, за товарную станцию, а дальше не моя высота, дальше крыши.

— Давно?

— С весны. — Ансельм отпил, вытер усы тыльной стороной. — Спроси, почему запомнил, — не отвечу. Помню, и всё. Что к порядку не относится, то само в голове застревает, как заноза.

— Табак куришь?

— Курю трубку, — с достоинством сказал Ансельм.

— Будет тебе трубочный. Смотри мне Восточный бассейн по ночам на пятницу. Особенно — что уезжает раньше, чем загорается.



ЛИСТ IV · СТО СОРОК ШЕСТЬ СТУПЕНЕЙ

*На каланчу вело сто сорок шесть ступеней. Адриен под-
нялся, не сбившись с дыхания и не сбившись со счёта, — счи-
тать было привычкой тела, а не ума, единственной ариф-
метикой, которая его никогда не подводила.*

Ансельм кивнул и снова стал смотреть на город — так хозяйка смотрит на кастрюли: всё кипит, всё на своих конфорках. Адриен пошёл вниз. На семьдесят третьей ступени он остановился у бойницы: отсюда был виден кусок улицы Сен-Виктор и над одной из дверей — жестяной кофейник, проржавевший по шву. Кофейник висел на месте. Это было единственное окно в городе, в которое Адриен смотрел не по работе.



Обедал он в харчевне у весовой — там кормили возчиков и весовщиков, и на клеёнке всегда стояла горчица в стакане, потому что горчица делает съедобным что угодно. Хозяйка, не спрашивая, поставила перед ним суп с потрохами и серый хлеб: Адриена она давно записала в железнодорожные ревизоры — из тихих — и он не разубеждал. Ревизору наливают гуще.

За длинным столом двое грузчиков спорили о воскресном бое. Оба на нём не были, что придавало спору чистоты.

— Левой он его достал, тебе говорят. Левой!

— Кто сказал?

— Сваяк. Сваяк в третьем ряду сидел.

— Сваяк твой и на собственной свадьбе в третьем ряду

сидел.

Третий, старик в брезентовом дождевике, ел молча и сгребал крошки в ладонь по-крестьянски, не оставляя столу ничего. У окна конторщик с водочаки читал газету, шевеля губами на трудных местах; Алжир давался ему хуже прочего. Газеты в Вельмонте вообще читали, как сводки: не «что нового», а «кого ещё».

Адриен ел и слушал — не слова, а зал: кто с кем пришёл, кто от кого отсел, у кого ложка ходит с похмелья, а у кого от возраста. Такие залы для его ремесла стоили дороже газет: газета сообщала, что случилось, а здесь было слышно — с кем.

— Ревизор, а ревизор, — сказала хозяйка, забирая тарелку. — Весовую-то когда проверять будете? Врут весы у Мареша, вторую неделю врут.

— Проверят, — пообещал Адриен, и это была чистая правда: кто-нибудь когда-нибудь непременно проверит.

Суп был честный, без притворства. Он оставил монету под тарелкой и вышел, и для хозяйки так и остался ревизором: человек, который столько молчит, по её разумению, не мог не быть начальством.



Вернулся он засветло и первым делом завёл новую папку. На корешке надписал печатными буквами: «СЕВЕРНАЯ — БАССЕЙН», вложил телеграмму, вырезку из «Курьера» и лист, где его почерком стояли три строки: пустые склады;

четверг, 4:40, три машины, без огней; подпись с нажимом. Ящик картотеки задвинулся с тем сытым звуком, с каким закрываются хорошо сделанные вещи.

Вечером он открыл дверь без ручки.

Дверь была в глубине второй комнаты, за шкафом с картотекой, и посторонний принял бы её за стенную панель. За дверью помещался бар: полка бутылок, два стакана, узкий диван — и вдоль стены, в чехлах, музыкальные инструменты, которых в этой конторе никто никогда не слышал. Адриен снял с чехлов пыль, как снимал её каждую неделю, — не потому, что пыль мешала, а потому, что вещи, с которых снимают пыль, продолжают кого-то ждать. Налил на два пальца, сел.

Телефон зазвонил в девять. Эбонитовая трубка была холодная и тяжёлая, как всё казённое.

— Страховые к тебе побежали? — сказал Марло вместо здравствуй.

— Добрый вечер, Гастон.

— Значит, побежали. Значит, платить не хотят. — В трубке слышался комиссариат: где-то стучала машинка, где-то ругались двое, и обоих было жалко. — Брось это дело, Адриен. Там подписано: проводка.

— Кем подписано, тем и куплено?

— Я этого не говорил.

— Ты позвонил.

Марло помолчал. Молчать в телефон он умел выразитель-

нее, чем иные говорят.

— Ставлю обед, — сказал он наконец, — что имя я добуду раньше тебя.

— У тебя нет времени обедать.

— Поэтому и ставлю. Проиграю — не замечу. — Он покашлял, и по кашлю стало ясно, что главное впереди. — Бланш вчера спрашивала, чего не заходишь. Говорит, совсем зазнался твой серый.

— Зайду в четверг. Передай.

— Сам передай. Я тебе не почтальон.

— Ты комиссар. Это почти одно и то же.

— Иди к чёрту, Патрон, — сказал Марло с нежностью и повесил трубку.

Адриен допил, вымыл стакан и поставил его донцем вверх, рядом со вторым, сухим. Второй стакан стоял так двенадцать лет.



Колокол ударил в четверть второго.

Внизу хлопнули ворота, двор налился светом, линейка выкатилась, гремя, и увезла свой колокол в город — звон уходил, сужаясь, как уходит вода в воронку. Адриен стоял у окна и слушал. Било вразнобой, с оттяжкой: на верёвке нынче стоял новенький. К возвращению — сорок минут спустя, сажа в трубе на Монетной, — Тибо будет знать про колокол больше, чем знал про него утром, а к воскресенью рука выровняется. Руки выравниваются быстрее, чем всё остальное.

Спать не имело смысла. Адриен поднялся на третий этаж, достал из жилетного кармана часы — серебряную луковицу, тёплую от тела, — и завёл, как заводили до него: семь с половиной оборотов, ни четвертью больше. Потом надел плащ.

Ночной обход был у него не привычкой даже, а устройством организма, как у иных устройством организма бывает бессонница. Разведчика с довольствия сняли, маршрут остался. Он шёл вдоль канала, мимо спящих барж, мимо газовых фонарей, каждый из которых держал над собой круглый шатёр из тумана и мошкары.

На углу Монетной ещё держался запах ночного выезда — печной сажки, прибитой водой. Постовой грелся под фонарём, переступая с ноги на ногу, и кивнул ему, как кивают своим: ночные люди Вельмонта знали друг друга в лицо, не зная по именам.

Дальше маршрут сам собой заворачивал на Сен-Виктор — так тропа сама заворачивает к колодцу. Пекарня Гектора уже работала: подвальное окно светилось мучным, тёплым, из отдушины тянуло первым хлебом, и этот запах брал ночной город за горло нежно, по-родственному. Сам Гектор, белый по локоть, мелькнул за стеклом и головы не поднял: от хлеба, как от огня, не отходят.

А через улицу, под жестяным кофейником, горели окна. Кофейня не спала — она в этом городе не спала никогда. За запотевшим стеклом двигались тени; кто-то читал у лампы, придерживая страницу ладонью; и сквозь туман оттуда шёл

свет — не белый, фонарный, а тёплый, оранжевый, какой бывает от абажура и от живых людей. Адриен убавил шаг, но не остановился. Четверг был послезавтра.

Туман к ночи собрался в полную силу: дома стояли в нём по пояс, город слышался, но не показывался — где-то далеко, у клубов, труба доигрывала что-то медленное, американское, и обрывалась на середине фразы, как обрываются к двум часам ночи все разговоры на свете.

На Прачкином мосту стояла женщина.

Он снял её ещё с набережной, шагов за сорок, как снимал всё живое в радиусе: одна, без шляпы, пальто по фигуре, но старше фигуры года на три. Стояла она у перил, лицом к воде. Люди над ночной водой обычно виснут — локти на чугун, спина горбом, вся тяжесть в перила, будто вода уже начала своё притяжение. Эта стояла, как стоят на посту: вес на обеих ногах, спина прямая, ладони на перилах лежали, а не держались.

Руки он рассмотрел, когда поравнялся с фонарём. Кисти были удивительные: кожа стёрта до особого матового блеска, каким она отвечает только на жёсткую щётку и сулему, ногти срезаны под корень, и на правом запястье — след от резинки перчатки, не сегодняшний, но и не давний. Такие руки в Вельмонте встречались реже, чем честные веса.

— Перила красили во вторник, — сказал он шагов за пять, чтобы не подходить молча. — Ещё пачкаются.

Она не обернулась. Плечи только обозначили, что слыша-

ла.

— Я не держусь.

— Вижу.

Вода внизу шла чёрная, в масляных кольцах от фонаря. Он встал у перил в двух шагах — не ближе, ладони на чугун, лицом туда же, куда она: к воде. Так стоят рядом на панихиде незнакомые люди.

— Оперируете, — сказал он. Не спросил.

— Уже нет.

— Руки не согласны.

— Руки, — она произнесла это слово, как чужую фамилию, — отстали от новостей.

Голос был ровный, стёртый, суточной усталости, — такой голос он слышал у артиллеристов после долгой работы: не горе, а глухота. Лица он не разобрал — свет от фонаря шёл ей в затылок. Впрочем, насчёт рук и того, как человек стоит, Адриен мог поклясться в любом суде. Насчёт лиц он не клялся никогда и ни о ком.

Он достал из внутреннего кармана карточку и положил на перила между ними — на сухое, некрашеное место, придавив углом, чтобы не взял ветер.

— Второй этаж над пожарной частью, — сказал он. — Если руки передумают.

И пошёл — первым, не оглядываясь, потому что оглядываться на таких мостах невежливо. Шаги его уходили в туман ровно, без ускорения.

— Эмма, — сказала она ему в спину.

— Девять тридцать — хорошее время, — ответил он, не оборачиваясь, и туман сомкнулся за ним раньше, чем стихли шаги.

Она взяла карточку. Картон был плотный, меловой, и ещё держал чужое тепло — тепло внутреннего кармана, левой стороны. На карточке стояло одно слово, набранное прямым шрифтом без завитков:

ПАТРОНАЖ

Слово было из её прежнего ремесла. Так называли работу, при которой врач не ждёт больного, а сам идёт к тем, кто до него не дойдёт. Она подержала карточку на ладони, как держат на ладони инструмент, решая, тот ли, — и спрятала в карман.

Внизу, под мостом, прошла вода. Наверху, над городом, на своей верхотуре, Ансельм отметил про себя, что туман нынче лёг раньше расписания. А человека, который растворился в этом тумане на Прачкином мосту, Эмма Леруа описать бы не смогла — как не мог никто в городе Вельмонте.

Утром она пришла без двух минут половина десятого.

ПАТРОНАЖ

Глава 2. Хирург

...

Есть руки, которые помнят всё, что им велели забыть.



Синописис: ночь подпольной клиники за прачечной на Мыльном дворе — докер, певица, человек без имени, мальчик с животом. После смены — туман, мост и карточка со словом из её ремесла. Утром Эмма Леруа поднимается по честной лестнице к двери, которая заперта до половины десятого.

Объём: ~3500 слов / ~22500 знаков. Время чтения: ~19 минут.



У докторши с Мыльного двора не было имени.

То есть имя, разумеется, было — без имени в этом городе не выдавали даже хлебных карточек, — но в той части Вельмонта, которая просыпается к ночи, его никто не спрашивал. Говорили: la toubib — докторша. Говорили: та, что за прачечной. Этого хватало. В милье адрес значит больше имени: имя можно сменить за вечер, а дверь, в которую тебя однажды пустили с бедой, не меняют.

Очередь к ней не стояла — очередь сидела. По одному, в тёмной подворотне Мыльного двора, на ящиках из-под марсельского мыла, и порядок соблюдался строже, чем в мэрии:

кто пришёл, тот видел только спину предыдущего, а курящий обязан был докурить до входа. La toubib не терпела дыма над столом. Об этом не предупреждали. Это знали.

Без очереди шли двое: дети и ножевые. Так постановил сам двор, и постановление это держалось крепче министерских. Боль здесь стояла в очереди наравне со всеми — другого порядка Мыльный двор не признавал.

Прачечная мадам Розы закрывалась в десять, но пар в ней не кончался никогда. Пар был её вторым потолком: он висел под настоящим, оседал на окнах и делал их матовыми без всяких занавесок. Щёлок и крахмал глушили карболку, кипятик жил в баках круглые сутки, и полиция, дважды за три года заглянув на Мыльный двор, оба раза увидела ровно то, что там было: бельё. Роза при этом гремела корзинами и не слышала ничего. Не слышать было её ремеслом в той же мере, в какой стирать, и неизвестно ещё, какое из двух кормило её вернее.

Задняя комната была маленькая, беленая, с одной лампой под эмалевым абажуром. Стол, накрытый клеёнкой. Табурет для тех, кто может сидеть, топчан для тех, кто уже нет. Инструменты кипели в бельевом баке — младшем брате тех, в которых Роза варила простыни, — и запах в комнате стоял двойной, госпитальный пополам с прачечным: карболка и крахмал, йодоформ и мыльная стружка. Эмма привыкла к нему настолько, что чистый воздух по утрам казался ей разбавленным.

В тот вторник октябрь работал на неё: холод загонял людей в дома, а у кого дома не было, тому было не до докторши. К восьми пришли только двое.



Первым сидел Йонас — докер с Восточного бассейна, большой, виноватый, с левой кистью, замотанной в платок не первой свежести. Платок Эмма развернула, как разворачивают плохие новости.

— Чем?

— Судьбой, — сказал Йонас и побелел, когда она тронула средний палец.

— Судьба была о двух тоннах?

— Кранец, — сознался он. — Борт подошёл, а я руку не успел. Кричать при людях не стал.

— Зря. Крик для того и выдан человеку. Бесплатно, заметьте.

Два пальца были целы, средний сломан ровно, по-хорошему, если про перелом можно так сказать. Она вытянула его одним движением — Йонас выдохнул через нос, длинно, как выдыхают лошади, — наложила лубок из щепы от мыльного ящика и прибинтовала так, что кисть стала похожа на белую рукавицу.

— Три недели не грузить. Скажете десятнику — рука в лубке, пусть ставит в тальманы, грузы отмечать.

— Тальманам платят вполтину.

— В могиле не платят вовсе. Выбирайте.

Йонас выбрал. Расплатился он свёртком: в старом «Вельмонтском курьере» лежала копчёная корюшка, и газета промаслилась ровно по Алжиру. Эмма приняла не торгуясь. На Мыльном дворе была своя валюта, и корюшка в ней котировалась выше многих слов.



ЛИСТ VI · КЛИНИКА ЭММЫ

Здесь не спрашивали имён — спрашивали, на что аллергия и когда ты ел в последний раз. Клиника пряталась во дворе, работала семь лет без вывески и без права на существование, и всякий, кто входил сюда со двора, знал: о том, кто он и откуда, здесь не спросят, а вот жизнь вытащат.

Второй пришла Соланж — из клуба на набережной, воротник поднят, под воротником шарф, под шарфом, как выяснилось, всё в порядке; непорядок был выше, над левой бровью, где две недели назад Эмма положила четыре стежка.

— Снимать пора, мадам. Мешают. Под пудрой видно.

Эмма усадила её под лампу и некоторое время разглядывала работу — свою и чужую.

— Кто шил, я помню, — сказала она. — Спрашиваю, кто рвал.

— Дверь, — сказала Соланж ясным голосом человека, отвечавшего на этот вопрос уже дважды. — Тяжёлая, зараза, на пружине.

— Двери у вас в клубе кусаются выше среднего.

— Работа ночная, мадам. Двери нервные.

Стежки вышли легко, кожа зажила чисто — молодость шьётся сама, врач при ней состоит писарем. Соланж смотрелась в круглое зеркальце и осталась довольна. Уходя, она задержалась у двери — им всем у этой двери хотелось поговорить, будто вместе с болью снималось и молчание.

— У нас теперь американец дует, — сообщила она. — Труба. Так, мадам, играет — стёкла потеют. Зашли бы послушать, живая же вы.

— Живая, — согласилась Эмма. — По четвергам у меня стирка.

Соланж фыркнула и ушла в октябрь, в поднятый воротник. Совет беречь голову Эмма оставила при себе: голову эта девочка слушала меньше всего, и в этом, возможно, было её счастье.



В одиннадцатом часу простучала по камням знакомая походка — дерево, подошва, дерево, — и вошёл Фернан, старик с деревянной ногой, из тех пациентов, что приходят не столько лечиться, сколько удостовериться, что их ещё чинят.

— Опять натёрло, мадам, — доложил он с порога тоном человека, сдающего рапорт. — Войлок сбился. К погоде они у вас сбиваются, войлоки.

— Войлоки сбиваются к ходьбе, Фернан. Где вас носило?

— Дела, — уклончиво сказал Фернан, из чего следовало: домино.

Она усадила его, отстегнула протез — старую, ладной работы деревяшку с кожаной гильзой — и перестелила войлок, заодно осмотрев культю: кожа была в порядке, старик содержал себя строго, по-солдатски. Пока она работала, Фернан рассуждал: октябрь нынче сырой, сырость — первый враг дерева и второй враг человека, а в одном заведении на Сен-

Виктор его четвёртый день ждёт недоигранная партия, и с ногой не находишься.

— Против кого партия?

— Против одного механика, мадам. Играет как бог, врёт как газета. Такого противника беречь надо.

Расплатился Фернан по-своему: выложил кисет и отсыпал на клеёнку табаку на две ладони. Эмма не курила, но табак взяла: на Мыльном дворе им платили извозчику, а извозчик рано или поздно бывал нужен всем. Уходя, Фернан пристукнул деревяшкой, проверяя работу, и остался доволен:

— Легче. Нога у вас, мадам, лёгкая.

— Рука, Фернан.

— Кому рука, — сказал он с достоинством, — а кому нога.



Ближе к полуночи привели того, кто не назвался. Здесь это входило в цену: на Мыльном дворе имя оставляли за порогом вместе с окурком. Кровь же шла расходом ремесла — как щёлок у прачек, как окалина у кузнецов.

Двое довели его до табурета и вышли ждать в пар, к Розиным корзинам. Нож вошёл под ребро косо, по-любительски — любительские и есть самые обидные: мастер знает, куда бьёт, а любитель кроит наугад, и разбирать его крой приходится дольше. Человек сидел прямо, держался за столешницу и смотрел в стену с той старательной скукой, с какой в милье принято смотреть на собственную кровь.

Эмма вымыла руки — щётка, сулема, до локтя, — разло-

жила кипячёное на чистой пелёнке и стала работать. Новокаин у неё был, но мало, и она спросила глазами; человек качнул головой: терпит. Терпел он ровно, только на пятой минуте сказал в стену:

— А говорили — у докторши рука лёгкая.

— Врали, — отозвалась Эмма, не поднимая головы. — Рука у меня обыкновенная. Лёгкая у меня игла.

Игла шла, кетгут ложился, край сходил с краем — четыре года самой строгой школы на свете сидели у неё не в памяти даже, а ниже, в сухожилиях, и оттуда их не могла достать никакая мирная жизнь. Люди в этой комнате подходили к ней ближе всех в городе — на длину иглы. Ближе она не подпускала никого. Иглы хватало.

Расплатились за него те двое: положили на клеёнку три ампулы пенициллина, настоящего, с фабричным клеймом, — на Мыльном дворе это была твёрдая валюта, твёрже франка. Эмма посмотрела ампулы на свет, кивнула. Спрашивать, откуда, здесь тоже не полагалось: ампулы, как и люди, приходили без имён.



Последней, во втором часу, постучала зеленщица с рынка — та, у которой весной Эмма выводила лишай у младшего. Теперь она держала за плечо старшего, лет двенадцати, согнутого пополам.

— Живот у него, мадам. С вечера. Думала — зелёных слив наелся, а он вон, стоять не может.

Эмма уложила мальчика на топчан, положила ладонь — правая подвздошная встретила её так, как встречает беду: доской. Мальчик смотрел в потолок и старался быть мужчиной, из чего следовало, что боль настоящая.

— В больницу, — сказала Эмма. — Сейчас. Не утром.

— Мадам, в больнице спросят бумаги, а у нас с бумагами...

— У него спросят аппендикс. Бумаги переживут, он — нет. — Она уже писала на листке два слова и фамилию. — Приёмный покой, спросите дежурного, отдадите записку. Скажете — от прачечной. Извозчика возьмите у весовой, ночью там стоит Одноглазый, довезёт за так, он мне должен.

Зеленщица закивала, комкая записку, как комкают ассигнацию. На пороге обернулась:

— А тут бы никак, мадам? У вас же руки золотые, все говорят...

— Тут стол кухонный, — сказала Эмма. — Золото на кухне не работает. Идите.

Дверь закрылась. Вот и вся её власть: то, что режется, она отдавала другим, себе оставляя то, что шьётся. Она собрала инструменты в бак, и вода приняла их с коротким злым шипением.



После таких смен сон не приходил. Приходила глухота — ровная, как гудение в проводах, — и с этой глухотой надо было что-то делать до утра.

Руки после сулемы горели. Она подержала их под холодной струёй, пока не остыли, и растёрла глицерином из аптечного пузырька — без нежности, деловито: руки были единственным, что она содержала в себе исправно, как казённое имущество, подлежащее возврату.

Комната её была тут же, за перегородкой: железная кровать, спиртовка, гвоздь для пальто и окно во двор, где ночами белели Розины простыни. Под кроватью стоял чемодан, собранный одиннадцать лет назад и с тех пор не разобранный. Она давно перестала его замечать — так перестают замечать шрам, который не болит, а только напоминает о погоде.

Эмма надела пальто и вышла в туман.

Когда-то, в другой жизни, она делала ночной обход: госпиталь спал, обход был не нужен никому, кроме неё самой, но она шла между коек, и от этого хождения мир держался в швах до утра. Госпиталь кончился. Обход остался. Теперь она обходила город — набережную, три фонаря, мост — и город, надо отдать ему должное, спал не хуже госпиталя: постанывал, ворочался и ждал утра.

На Прачкином мосту она остановилась, как останавливалась всегда, — у перил, лицом к воде. Прачкиным его звали по-довоенному, по-квартильному; на табличке он двадцатый год значился мостом Освобождения, но табличкам здесь верили меньше, чем прачкам.

Шаги она слышала издалека и не обернулась: по шагам

выходило опасно. Шаг был ровный, невоенный и не полицейский — те двое ходят иначе, у тех в походе всегда служба. Этот шёл, как ходят по давно вымеренному маршруту, и остановился не вплотную — в двух шагах, положив ладони на чугун. Так становятся санитары, которые умеют не трогать.

— Перила красили во вторник, — сказал он. — Ещё пачкаются.

Разговор был короткий и странный, как большинство важных разговоров. Он сказал: «Оперируете» — не спросил, а именно сказал, будто прочёл накладную. Она ответила: «Уже нет», и это была правда ровно наполовину — как всякая правда о себе. Потом на сухом месте перил осталась карточка, а сам он ушёл первым, не оглядываясь, и туман закрыл его, как закрывают дверь — без стука.

— Эмма, — сказала она ему в спину. Зачем — она разбиралась потом всю дорогу до дома и не разобралась.

Вода под мостом была та же, что всегда. Но смотрела она в неё этой ночью уже иначе — не вниз, а вперёд.



Дома, при жёлтом свете лампы, она поставила карточку на подоконник, прислонив к стеклу, и села напротив, как садятся напротив пациента.

ПАТРОНАЖ

На манжете пальто осталась рыжая полоса — сурик, свежая краска перил. Значит, всё это было на самом деле: мост,

туман и человек, который читает руки в темноте.



ЛИСТ V · ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В ТУМАНЕ

Туман сомкнулся за ним раньше, чем стихли шаги. На горбатом мосту через канал двое чужих друг другу людей оставались у одних перил — он смотрел ей на руки, она заметила, куда он смотрит, и ни один не отвёл глаз. С этого и началось всё остальное.

Она принялась за него так, как привыкла приниматься за всё непонятное, — дифференциальным диагнозом. Полицейский? Нет: полицейский не уходит первым, полицейскому нужен итог. Врач? Врач сказал бы «коллега», врачи метят своих, как колыцуют птиц. Из миле? Эти не подходят на два шага — эти подходят либо вплотную, либо никак. Филёр? Филёры не оставляют карточек — филёры оставляют вопросы, и вопросы у них всегда чужие. Оставался осадок, который ни в одну пробирку не ложился: человек, который узнал её ремесло по рукам в тумане, оставил карточку и не попросил ничего. В её опыте не просили ничего только мёртвые.

«Патронаж». Слово она знала руками: так называлась работа, при которой врач сам идёт к тем, кто до него не дойдёт. Что этим словом делает контора с латунной табличкой — вот это и следовало выяснить. В конце концов, сказала она подоконнику, на разумные решения у неё ушло одиннадцать лет, и привели они её сюда: октябрь, чужая прачечная, чемодан под кроватью.

Пусть будет неразумное.

Она погасила лампу. Спать оставалось три часа, и это было на три часа больше, чем во многие ночи той, строгой школы.



Перед выходом её перехватила Роза — вернее, не её, а пальто.

— Краска, — определила она с одного взгляда, без единого вопроса: вопросы в её ремесло не входили. — Сурик. Мост, что ли, красят? Вечно красят к зиме, когда добрый человек уже не облакачивается.

Полосу она оттерла в четыре движения, тут же, на весу, и подержала рукав над плитой — просохнуть. Эмма проверила карман. Карточка была на месте.

Доказательство осталось одно. Зато настоящее.



Утро среды стояло октябрьское, без обиняков: холодное, серое, с угольным дымом из всех труб разом и свежим хлебом откуда-то из-за угла — Вельмонт по утрам пах как рабочий человек за завтраком.

Она шла через рынок, и рынок читался сам, привычно, поприёмному: каменщик берёт правое колено — к дождю его колено знало больше барометра; у зеленщицы — той самой — зоб набирал силу, и об этом стоило сказать в следующий раз без мальчика; торговка каштанами грела руки над жаровой ровно по десять секунд каждую — застуженные суставы, а перчаток нет, перчатки в её торговле съедают прибыль.

На углу торговал газетами мальчишка — корзинка на бечёвке через плечо, лямка резала правое плечо, и лет через пять его поведёт вправо, если никто не вмешается.

— «Курьер», мадам! Склады горят! В Алжире!..

— Беру. — Она протянула монету и, пока он рылся за сдачей, сказала: — Корзину перевесь на левое. Через день меняй.

— А чего это?

— Того, что кривым вырастешь. Кривым газеты не подадут — не дотянешься.

Довод подействовал: мальчишка перевесил корзину тут же, послушно, и держал её на левом плече по крайней мере до конца улицы — дольше не позволяла натура.

Адрес она нашла без труда. Такое здание не нужно искать — оно само находит взгляд: промышленная постройка конца прошлого века, кирпич потемневший, но крепкий, угловая, на стыке двух улиц, — она стояла, как корабельный нос, острым фасадом вперёд, и квартал расходился от неё в обе стороны, как вода.

На первом этаже ворота пожарной части стояли приоткрыты; молодой сапёр начищал колокол линейки — сукном, с усердием новобранца, у которого блестит пока только это. Он увидел её и вытянулся на всякий случай.

— Вам к верхнему, мадам? Вторая дверь, по лестнице.

В глубине двора, за линейкой, шлёпали карты утреннего белота. Капитан Ру проводил гостью взглядом поверх веера.

— Врач, — сказал он, хотя никто не спрашивал. — По рукам видно. И на носилки наши посмотрела, как на знакомых. Сапёры обернулись, но на лестнице уже никого не было. К верхнему ходили разные люди; врачей до сих пор не водилось. Шофёр открыл было рот — предложить новый спор, — но Ру поглядел на него, и шофёр вспомнил, что один литр в этом доме уже висит неразыгранным.

Второй этаж держал окна почти неприличной высоты для промышленного дома, и стекло в них было толстое, в два пальца: за такими окнами, подумала она мимоходом, зимой должно быть необыкновенно тихо. Третий этаж шёл без вывески. Жилой.

Лестница была широкая, с чугунными перилами, звеневшими под рукой, ступени из тёмного дерева — стёртые посередине, блестящие по краям. Хорошая лестница. Честная. По такой носили и мебель, и носилки, и она держала всё.

На площадке — дверь с матовым стеклом и латунной табличкой, начищенной без фанатизма, ровно настолько, чтобы читалось:

ПАТРОНАЖ

Частное детективное агентство

Эмма потянула дверь. Заперто.

Она пришла в половину десятого из принципа. Эмма Леруа не опаздывала никогда — даже когда снаряды ложились в ста метрах и санитарная машина не заводилась. Особенно тогда. Пунктуальность была одним из немногих её спо-

собою сказать обстоятельствам, что они не командуют. Она посмотрела на часы: девять двадцать восемь. Постояла. Достала из сумки тетрадь назначений и стала листать — не за нуждой, а потому что стоять просто так было хуже.

Рука легла ей на плечо.

Не грубо — но тело сработало раньше головы: она выдохнула сквозь зубы и развернулась на выдохе.

— Эмма, — сказал знакомый голос без предисловий. — Приходить раньше — добрая привычка.

Адриен де Куп стоял в шаге, в пальто, с двумя стаканами — толстого стекла, киосчного, из тех, что выдают под честное слово и возвращают через раз. На лице у него было то же выражение, что на мосту: не приветливое и не холодное — рабочее. Как будто день начался внутри него давно и она входила в уже запущенный механизм.

Второй стакан он протянул ей:

— Ваш кофе.

Она взяла машинально, глотнула машинально — и оставалась уже со стаканом у губ.

Двойной. Чёрный. Без сахара.

Она посмотрела на стакан. Потом на него.

— Откуда?

— Четыре года полевой хирургии, — он отпер дверь, пропуская её вперёд. — Молока там не было. Сахар был валютой. Привычки живут дольше войны — на этом стоит половина моего ремесла.

Контора внутри оказалась такой, какой снаружи обещали окна: две комнаты света. Большой стол у окна — пустой, как операционный; шкаф картотеки; на стенах — несколько картин и вещи, которых у случайных людей не бывает: морской хронометр, туземная маска со спокойным лицом, фотография моста, которого Эмма не знала. Вещи стояли не напоказ, а по местам — так в хорошем инструментарии лежит инструмент: каждый след от каждого объясним.

Она осмотрела комнату, как осматривала новых пациентов, — с ног до головы, не спрашивая разрешения. Хронометр шёл и показывал верно: не украшение — прибор. Маска висела на уровне глаз хозяина: на неё смотрели сами, а не показывали гостям. Фотография моста стояла в простой рамке, без подписи, и стекло на ней было протёрто чаще, чем на соседних. Выходило странное: ничего лишнего и ничего случайного. Так живут либо очень бедные, либо очень собранные, и на бедного хозяин кабинета не тянул.

Он снял с неё пальто — она не успела возразить — и повесил на торшер у дивана, не взглянув ни на вырез, ни на неё, с той механической учтивостью, по которой не поймёшь, воспитание это или метод. Проводил до стула перед столом. Сел напротив.

— Начнём собеседование, — сказал он.

— Не начнём, — сказала Эмма. — Сначала я.

Он сложил руки и приготовился слушать — так, отметила она, готовятся слушать люди, у которых вежливость — раз-

новидность наблюдения.

— Дело о дипломате. О котором писал «Курьер» месяц назад — с вашей конторой в третьем абзаце. Я читаю газеты по ночам, у меня много ночей. Вы сделали три ошибки.

— Даже так.

— Первая: вы искали человека, который прячется. А он ждал, что его найдут: беглец не шьёт костюмы у портного, который шлёт счета на прежний адрес. Вторая: Гавана. Из Вельмонта не бегут туда, где тепло, — из Вельмонта бегут туда, где похоже. В тепло не бегут, в тепло выставляют. Витрина, не побег.

— А третья?

— Третья: вы отдали его английской полиции. Человека, который сам хотел быть найденным. Это либо небрежность, либо...

— Либо третья ошибка не моя, — сказал Адриен. — Я его не сдал. Я его убрал в единственный шкаф, до которого не дотягивались те, кто искал его всерьёз. Он не подозреваемый, мадам Леруа. Он свидетель. Иногда лучший способ спрятать человека — сдать его властям: в тюрьме короны замки надёжнее моих.

Эмма помолчала. Стакан в её руках остывал, и она вдруг заметила, что держит его обеими ладонями, как держат в холод, — хотя в комнате было тепло.

— Две из трёх, — сказала она. — По ночному чтению газет — недурно.

— По ночному чтению газет это блестяще. — Он произнёс это без улыбки, как ставят подпись. — Теперь моя очередь. Мне нужен врач.

— В городе есть врачи.

— Мне нужен врач, который ходит в двери, куда меня не зовут. Люди говорят с тем, кто их зашивал, охотнее, чем с тем, кто их допрашивал, — вы это знаете лучше меня. Я не прошу пересказывать. Я прошу слышать. Разницу вы понимаете тоньше любого в этом городе.

— Я не доносица.

— Я не полиция. Полиция подшивает бумаги. Я собираю картину — и иногда успеваю раньше беды. Слово «патронаж» я взял не из справочника.

Она посмотрела в окно — толстое стекло держало улицу на расстоянии, как обещало: внизу беззвучно прошёл трамвай, беззвучно ссорились двое у киоска. Необыкновенно тихо. Так тихо бывало в операционной в ту секунду, когда решают — резать или нет.

— Условия мои, — сказала она. — Первое: никаких вопросов назад. Ни одного. Что было до Вельмонта — того нет.

— Принято. Я торгую только вперёд.

— Второе: пенициллин. Без очереди, без вопросов, по счёту аптеки.

— Будет к пятнице. Что-нибудь третье?

— Третье узнаете, когда наступит.

— Разумно, — сказал Адриен. — Третье условие всегда

узнают, когда наступит. Карточки вам закажу к концу недели.

— Какие карточки?

— Ваши.

— Работа начинается когда?

— Уже началась. В вашей подворотне сидят люди с Восточного бассейна. Если в пятницу утром кто-нибудь придёт с ожогами — лечите и ни о чём не спрашивайте. Запомните только, во сколько пришёл и чем пахла одежда.

— Чем пахнут ожоги, я знаю сама.

— Ожоги меня не занимают. Меня занимает одежда.

Он поднялся, давая понять, что собеседование, которого не было, окончено.

— Завтра четверг. По четвергам я пью настоящий кофе в одном месте на Сен-Виктор — там, где над дверью жестяной кофейник. Приходите к десяти: покажу вам единственного человека в этом городе, которому я верю без проверки. Завтра и её мнение о вас узнаем.

— О вас там тоже есть мнение?

— Там про меня знают самое страшное. Что я пью цикорий и не жалею. — Он подал ей пальто тем же манером, не глядя. — До четверга, Эмма.

Она шла вниз по честной лестнице, и чугунные перила звенели под ладонью. Никто в Вельмонте не звал её по имени — годами, по её же собственному устройству. Теперь звал один. Она ещё не решила, как к этому относиться, но заме-

тила за собой, что ступени пересчитывать не стала.

А это, по всем законам её ремесла, был симптом.

ПАТРОНАЖ

Глава 3. Тёплый свет

...

Есть свет, при котором заживает быстрее. В аптеках его не отпускают.



Синописис: четверг приводит Эмму под жестяной кофейник — в единственную комнату Вельмонта, где город позволяет себе быть добрым. Бланш, письмо от Авелин, чужой человек, спрашивавший про Адриена, мальчик с разными глазами из чужого детства — и бал-мюзетт, на котором вальс заказан «когда что».

Объём: ~4190 слов / ~27000 знаков. Время чтения: ~23 минут.



Вельмонт состоял из дворов, где никому никого не жалко. Это не было жестокостью — это была экономия: жалость после войны выдавали, как уголь, по норме, и тратить её на чужих не выходило при всём желании. И в этом самом городе, на улице Сен-Виктор, была одна комната, где жалели всех подряд и без нормы. Над её дверью висел жестяной кофейник, проржавевший по шву.

Кофейня не закрывалась никогда. Старожилы уверяли, что ключа от неё не существует в природе: замок есть, дужка есть, а ключа никто не видел — как не видел никто и того,

чтобы мадам Бланш спала. Днём сюда ходила публика с газетами: нотариальные писцы, два отставных капитана дальнего плавания, инспектор акцизного ведомства, врач с бульвара, дама в митенках, пившая свой кальвадос с достоинством вдовствующей королевы. Газеты здесь висели на бамбуковых держателях, как в лучших домах, и подшивались за месяц; на полке у окна жили книги — разрозненные, без семей: атлас без карт Африки, Монтень с чужим экслибрисом, томик стихов без обложки, про который никто уже не был обязан помнить, чьи это стихи. Книги стояли, как беженцы на пересадке: приходили с одними людьми, уходили с другими, и Бланш не спрашивала документов ни у тех, ни у других.

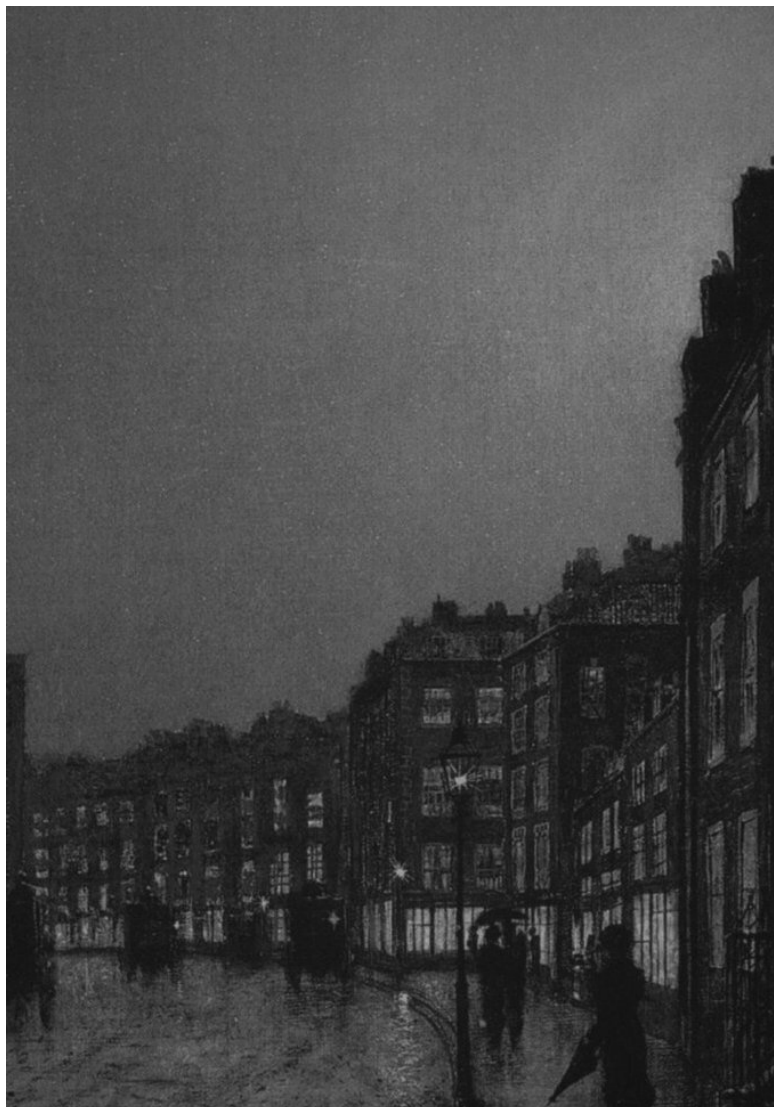
За это дневная публика звала заведение клубом. Кофе здесь, правду сказать, стоил по-клубному: настоящий, доведенной честности, из зелёных зёрен, которые Бланш жарила сама и о происхождении которых в квартале ходили легенды одна другой уважительнее. Кто платил — платил дорого. Кто не мог платить — про того существовала клеёнчатая тетрадь под стойкой, и об этой тетради будет сказано в своё время.

А ночью газеты отдыхали, и приходили другие. Кочегары после смены, певички до смены, наборщики из типографии с руками в несмываемом свинце, ночной таксист, у которого дома было так пусто, что он предпочитал руль. Доходные дома вокруг Якорной стояли — тысяча сквозняков на каждый, и ни одной двери, которая закрывалась бы как следует; из таких домов ночью уходят не куда-то, а откуда-то. Все они

сидели тут, под оранжевым абажуром, и молчали вместе или говорили поодиночке, и на каждого находилась чашка.

Почта квартала шла через кофейню: у Бланш оставляли письма «до востребования» для тех, у кого в городе не было ни адреса, ни фамилии, которую стоило бы выводить разборчиво. Ссудная касса квартала помещалась в той же тетради под стойкой. Исповедальня работала у дальнего конца цинковой стойки, ближе к кофейной мельнице, — там, где мельница гремела и слов не было слышно никому, кроме той, кому они предназначались. Бюро добрых услуг не имело вывески и часов приёма, но действовало бесперебойно.

За боковой дверью держали террасу — узкую площадку над обрывом, с перилами, кованными ещё до той войны: город на холмах открывался с неё весь, крышами, трубами и портом в дымке. Столики туда выносили с апреля и убирали к первым настоящим холодам, и вечерние места на террасе занимались по старшинству, которого никто не устанавливал и никто не оспаривал.



ЛИСТ VII · ТЁПЛЫЙ СВЕТ

Одна комната на весь город, где жалели всех подряд и без нормы. У Бланш грели цикорием и подгоревшим молоком, слушали, не перебивая, и не гнали до последнего трамвая — кофейня была домом для тех, кому большие некуда было прийти, и все они это знали, не сговариваясь.

Одним словом, у города, который жил взаймы — кто у Бланш под крестик в тетради, кто у судьбы под честное слово, — была комната, где долг умели прощать. Тёплый свет из её окон Адриен де Куп видел с каланчи пожарной части, из тумана на ночных обходах и, кажется, с закрытыми глазами тоже.

В четверг, без пяти десять, он привёл туда Эмму Леруа.



Дверь отворилась с двухнотным звоном — колокольчик здесь был настроен, как всё у Бланш, чуть добрее, чем принято. Пахнуло жареным зерном, цикорием, воском и совсем немного — подгоревшим молоком: этот запах жил в стенах на правах старейшего постояльца.

У стойки шёл спор. Булочник Гектор, белый по локоть и злой по грудь, стучал пальцем по цинку:

— Отрава! Пятнадцать лет говорю: отравы твой кофе, Бланш. Клопов им травить, а не христиан.

— Налить вторую? — спросила Бланш.

— Налей, — мрачно согласился Гектор и подвинул чашку.

Хлеб он уже принёс — две корзины утреннего, и по кофейне от этого хлеба шло тепло отдельным течением. Мими, девушка при стойке, растаскивала багеты по корзинкам, успевая одновременно отвечать наборщику про вчерашний выпуск и не отвечать таксисту про воскресенье.

Бланш обернулась на колокольчик — и Эмма увидела её впервые.

Немолодая, прямая, седые волосы тугим узлом, руки, которые никогда не висели без дела и, судя по всему, не умели. Хирург в Эмме сработал раньше гости: на левой руке у хозяйки не хватало половины безымянного пальца — давняя ампутация, зажившая грубо, по-походному, из тех, что делает не врач, а жизнь. Носила она эту руку спокойно, не пряча, как носят старую фотографию в ободранной рамке.

— Явился, — произнесла Бланш вместо здравствуй. — В четверг. Гастон из тебя это клещами тянул, а мне ты, выходит, сам скажешь.

— Сам, — признал Адриен. — Зашёл вот.

— «Зашёл». Двенадцать лет он заходит. — Бланш уже смотрела на Эмму, и смотрела так, как смотрят люди, читающие не хуже Адриена, только другим способом — не с воротника, а прямо с сердца. — А это кто с тобой, докладывай.

— Эмма Леруа. Работает со мной с этой среды.

— Со среды, — повторила Бланш с непонятной интонацией, будто взвесила среду на руке и нашла в ней больше, чем один день. — Садитесь к окну, там сегодня солнце обе-

щали. Врали, наверное, но место всё равно лучшее.

Она не спросила у Эммы, что та будет пить. Она вообще ничего у неё не спросила — ушла за стойку, загремела, отсекла ломоть от гекторовской булки, и через три минуты перед Адриеном стоял цикорий в его всегдашней чашке с синей каймой, а перед Эммой — кофе. Настоящий. С молоком и с сахаром.

— Я пью чёрный, — сказала Эмма.

— Пьёте, — согласилась Бланш. — А сегодня выпьете этот. Не спорьте со старухой, мадам: чёрный без сахара пьют, когда надо продержаться. А здесь держаться не надо. Здесь можно просто сидеть.

Эмма посмотрела на чашку. На фронте она усвоила про себя одну вещь: приказы, отданные с заботой, выполняются телом раньше, чем голова успевает возразить. Она выпила глоток — молоко было горячее, сахару было много, всё было неправильно и всё было так, как надо, — и обнаружила, что у неё горят глаза и что смотреть сейчас лучше в окно.

Адриен в окно не смотрел. Адриен изучал свой цикорий с видом человека, который всё это предвидел, устроил и теперь скромно отсутствует.

За кассой, приткнутая к стене, стояла маленькая фотография в простой рамке: молодой солдат, снятый на казённом фоне, улыбался так, как улыбаются в двадцать лет, когда фотограф велит не улыбаться. Перед рамкой лежал речной камешек, белый и гладкий. Эмма увидела, поняла, что спра-

шивать нельзя, и не спросила. В этом доме, похоже, вообще многое понималось без надписей.



Утро шло своим ходом. Гектор допил вторую отраву и удалился к печам, ворча, что зайдёт вечером проверить, не отравили ли кого без него. Дама в митенках потребовала подшивку за сентябрь. Наборщик уснул над недопитой чашкой, и Мими, проходя, отодвинула чашку от его локтя — жест, отработанный до музыкальности.

К стойке подошёл кочегар — попросил тихо, но цинк разносит шёпот, как воду:

— Мадам Бланш, мне бы... до полочки. Уголь встал, а младшая кашляет, доктор нужен.

— Доктор, — Бланш достала из-под стойки тетрадь в клеёнчатой обложке, раскрыла на нужной странице, не ища. — Доктор вот, за столиком у окна сидит, кофе пьёт. А в тетрадку я тебе крестик поставлю. Отдашь, когда уголь пойдёт.

Она поставила крестик — химическим карандашом, поглотив его по-старинному, — и кочегар ушёл к окну, к Эмме, мять картуз и объяснять про кашель. Так, в четверг, в первый же час, у Эммы в кофейне появился первый пациент, а у клеёнчатой тетради — ещё один должник, и никто в комнате, включая автора крестика, не знал, чем эти крестики однажды отзовутся.

Пожилому наборщику, когда тот проснулся, Бланш велела снять пиджак.

— Это ещё зачем?

— Затем, что пуговицы на тебе висят, как утопленники, прости господи. Ходишь, как беспризорный, а ещё грамотный человек, буквы людям расставляешь.

Из-под стойки явилась жестянка — старая, из-под леденцов, полная пуговиц всех сословий: костяных, роговых, латунных с якорями, перламутровых от чьих-то лучших времён. Бланш выбрала подходящую, откусила нитку и зашила наборщику пиджак прямо на весу, поверх его смущения. Эмма следила за её пальцами — игла в них ходила по-крестьянски, крупными уверенными стежками, и половина безымянного пальца делу не мешала нисколько: рука давно перестроила себя вокруг утраты. Так, отметила Эмма, перестраиваются лучшие из её пациентов и худшие из её воспоминаний.

— Внучка моя эти пуговицы в детстве по цветам раскладывала, — сообщила Бланш, ни к кому не обращаясь и обращаясь ко всем сразу. — Часами сидела. Перламутровые у неё были «принцессы», латунные — «солдаты». Роговые почему-то «монахи».

— А костяные? — спросила Эмма.

— А костяные она не любила. Говорила — холодные. — Бланш захлопнула жестянку и посмотрела на Эмму с одобрением, как смотрят на человека, задавшего правильный вопрос. — Авелин её зовут. Пятнадцать лет. В пансионе учится, не здесь — постановила себе: доучусь, потом вернусь. Упрямая. В меня, стало быть.



Письмо она достала ближе к полудню, когда схлынула публика, — из кармана передника, где оно, судя по сгибам, жило не первый день и перечитывалось не по разу. Надела очки — очки меняли её мгновенно, из хозяйки делая бабушку — и прочла вслух, выбрав кусок, как выбирают лучший ломоть:

— «...по арифметике меня перевели в старшую группу, а мадемуазель Одиль говорит, что почерк у меня мужской. Я ей сказала, что почерк у меня бабушкин». — Бланш опустила письмо. — Бабушкин. У меня три класса, я расписываюсь как курица, но внучка у меня — вот. Мужской почерк.

Она сложила листок по обжитым сгибам и вернула в передник. Помолчала — и обронила, глядя куда-то поверх кофейной мельницы:

— Кофейня ей отойдёт. Только ей, больше никому: эти, — она повела подбородком в сторону квартала, города, а может, и всего света, — эти прожгут. А она перламутровые от костяных с пяти лет отличала. Ей можно.

— Вам рано об этом, — заметила Эмма.

— Об этом всегда рано, мадам, — Бланш сняла очки. — Ровно до дня, когда окажется, что было поздно. Я в тридцать девятом видела, как это делается: с утра рано, к вечеру поздно, а в промежутке — вокзал.

Она сказала это буднично, без нажима, и ушла молоть зерно, а Эмма осталась сидеть с этой фразой, как сидят с занонами.

зой, которую пока не решили вынимать.

На стене за стойкой висел календарь — из тех, что дарят угольные конторы, с грузовиком на картинке. Календарь показывал август. За окном стоял конец октября. Эмма поглядела на лист, на Бланш и ничего не спросила и тут: в августе, надо полагать, уезжала после каникул Авелин, и время в этой комнате с тех пор заводили только на неделю вперёд — от четверга до четверга.



Про чужого человека Бланш сказала между делом, вытирая стойку, — тем нарочито ровным тоном, каким сообщают вещи, которые всю неделю решали не сообщать:

— Да, вот ещё. Спрашивал тут про тебя один. В понедельник, под вечер.

Адриен не поднял головы от газеты:

— Кто?

— Не наш. Одет серо, пьёт залпом, на язык вежливый. Спросил, часто ли бывает у меня господин из агентства над пожарной частью. Я сказала — знать не знаю, у меня публика газетная, номеров не спрашиваю.

— А он?

— А он заплатил за кофе, который не допил, и оставил на цинке пять франков сверху. — Бланш скомкала тряпку. — Вот это мне и не понравилось, Адриен. У нас сверху оставляют либо от счастья, либо от того, что прощаются. На счастливого он не тянул.

Адриен перевернул газетную страницу — ровно, как переворачивают всегда. Только Эмма, сидевшая напротив, увидела то, что видела теперь каждый день в конторе: он убрал услышанное внутрь, в картотеку, в ящик, который задвигается с сытым звуком. Пять франков сверху. Понедельник. Серый, вежливый, залпом.

— Если придёт ещё, — произнёс он, — кофе ему налей. И запомни руки.

— Руки, — повторила Бланш. — Господи, вот вы двое друг друга нашли: одна по рукам режет, другой по рукам читает. Руки ему. Ладно. Запомню руки.



Смеялись в тот день в кофейне много — четверг вообще стоял урожайный на публику, — но один смех Адриен услышал отдельно от прочих.

За угловым столиком боцман без корабля, списанный на берег ещё весной, рассказывал троим слушателям историю о том, как их кок в сорок четвёртом варил суп под бомбёжкой и на все уговоры спуститься в трюм отвечал, что суп сбежит, а война подождёт. История была страшная, потому что кока в конце не стало, и смешная, потому что суп уцелел, — и боцман рассказывал её так, что смеялись все четверо, тем особым портовым смехом, которым смеются, чтобы не выть. Шутка у боцмана была ржавая, как якорная цепь: скрипела, но держала.

И на этом скрипе память Адриена, не спросив хозяина,

отворила одну из своих дальних дверей.

Память его вообще была домом на тысячу комнат, где сквозило из-под каждой двери. Лица в этом доме не жили — гостили: колыхались, как занавески, смазывались, стоило отвернуться. Но были две или три комнаты, запертые на хорошие замки, где ничего не колыхалось. В одной из них стояло лето, поленница на задах дедовского дома в предместье — и мальчик на этой поленнице, года на два старше, лущивший семечки с видом коменданта крепости.

Мальчика привозили на лето — родня была дальняя, седьмая вода, но семьи дружили домами. Звали его Вал. У него были разные глаза: один светлый, водяной, как утро на реке, второй — карий до черноты, и смотрели они всегда чуть в разные стороны жизни, отчего казалось, что Вал видит на один угол больше остальных. Соседские мальчишки дразнили Адриена «аптекарем» — за то, что он всё на свете отмерял, взвешивал и раскладывал, за то, что заговорил в семь и молчал в десять. Дразнили, впрочем, недолго: Вал с поленницы спускался не спеша, доставал из кармана не кулак, а фразу — и фраза работала лучше кулака.

— Он вас всех давно разобрал по винтикам и забыл, — говорил Вал скучающим тоном. — А вы его будете помнить до старости. Обидно быть запчастью, а?

Мальчишки уходили, унося фразу в себе, как занозу. А Вал поворачивался к Адриену и досказывал — уже другим голосом, без публики:

— Ты не аптекарь. Ты машинка. Часовая. Таких не дразнят, таких берегут — они время показывают. — И, помолчав, добавлял со своей кривой, в разные стороны, ухмылкой: — Когда меня повесят, машинка, приходи. Сверим, вовремя ли.

Шутки у него уже тогда были такие — чёрные, как сажа, и почему-то тёплые, как сажа же в остывающей печи. Он смешил так, что делалось страшно, и пугал так, что делалось смешно, и Адриен, не умевший в детстве ни того ни другого, ходил за этим уменьем, как ходят греться.

Потом лета кончились. Семьи растащило — сперва бедностью, после войной; улицу предместья разобрало по кирпичу, и в длинных серых списках, которые вывешивали у мэрии, Адриен однажды нашёл и это имя. «Пропал без вести». Он тогда уже знал цену казённым формулировкам: «пропал без вести» на языке списков означало «не ждите», а на языке Адриена — «не доказано». Недоказанное он хранил в отдельном ящике и ящик тот не задвигал до конца.

Боцман в углу досмеялся. Адриен сложил газету по сгибу, ровно.

— Ты где был сейчас? — вполголоса спросила Эмма. Она уже научилась замечать, когда он выходит из комнаты, не вставая со стула.

— На поленице, — ответил Адриен, и больше в тот день об этом не говорили.



Недели, следовавшие за тем четвергом, легли в память Эммы не днями, а случаями — так укладывается всякая настоящая работа.

Был человек с простреленной ладонью, который молчал, кажется, на трёх языках сразу: Эмма шила, Адриен сидел напротив и к концу перевязки знал о молчавшем больше, чем иной следователь узнал бы за протокол. Был мальчишка-посыльный из гостиницы «Северная», таскавший им записки от Оже и совершенно счастливый оттого, что участвует в деле, о котором ничего не знает. Был старик с осколком ещё той, первой войны — осколок пошёл гулять после тридцати лет тишины, и Эмма выторговала для старика ещё сколько-то времени, а старик в уплату рассказал, как в его молодость Вельмонт хоронил моряков: без гробов, зашитыми в парусину. «Нас в ту войну сеяли густо, — сообщил он без обиды. — Думали, взойдём».

Была пятница — та самая, первая. Утром, в восьмом часу, в подворотню Мыльного двора пришёл человек с обожжёнными руками и запросил перевязку, ничего не объясняя. Эмма перевязала, ничего не спросив, — как было велено, — и запомнила две вещи: часы показывали семь сорок, а одежда пришедшего пахла не пожаром. Пожар она знала — горелым деревом, известковой пылью, палёным волосом. Здесь пахло тем, с чего пожары начинаются. Вечером она сказала об этом Адриену — четыре слова, время и запах. Адриен кивнул, раскрыл папку с надписью «СЕВЕРНАЯ — БАССЕЙН»

и внёс строку. Больше они это не обсуждали: у каждого дела свой инкубационный период, это Эмма понимала лучше многих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.